

Первый урок

Карантин помещался в длиннющей, потрепанной палатке, утепленной снизу дощатой опалубкой с засыпкой из опилок. Я попал туда в разгар лета, но старожилы рассказывали, что зимой волосы спящих карантинников примерзали к нарам. Высокий забор отделял палатку и пятачок вытоптанной земли от остальной зоны. Ни одна травинка там не росла, гулять было негде, да запах сортира в углу так шибал в нос, что лучше было из палатки не высовываться. В ее же темном жерле метался и рычал староста карантина полублатной армянин Акопян. Обнаженный до пояса, как бы для демонстрации своих чудовищно похабных наколок, он крепко матюгался, склоняя при этом на все лады слово «рот», которое я по своей тогдашней наивности воспринимал как «род», ибо где-то читал, что восточная брань часто задевает честь предков.

Деваться было некуда, а я жаждал свободы ногам, возможности пройти по прямой хотя бы сто шагов, возможности общаться с людьми. Полтора года в подвалах следственной тюрьмы -- из них два месяца в одиночке, потом две недели в пересыльной тюрьме, где в камере, рассчитанной на двух человек, нас было семнадцать. Но зато в ташкентском пересыльном лагере на Куйлюке в громадном бараке на несколько сот человек я был чуть ли не в одиночестве. Тамошний парикмахер объяснил:

-- Можешь считать, что посчастливилось. Попал бы ты сюда на месяц раньше, так здесь некуда было иголку

воткнуть. Даже под нарами было полно.

-- И куда все подевались?

-- Никуда не подевались, просто дали дуба. Кровавый понос -- не шутка!

В «столыпинском» вагоне, который должен был меня в три дня доставить в Актюбинский лагерь, я катался две недели. Просто ночью на станцию в Актюбинске не явился конвой и меня повезли до Оренбурга, а так как селедку и хлеб выдали мне в Ташкенте на три дня, то мне приносили только воду. Но и той не хватило, когда в Оренбурге конвой закрыл стоящий в тупике вагон и отправился гулять, оставив меня в нем одного. На сорокоградусной жаре железные стены вагона раскалились до такой степени, что клопы изо всех купе посчитали мое тело самым холодным местом. Я снял майку и сгрэбал их ею кучами. И, кажется, начал выть. Но мой вой никто не слышал. Был выходной день, никому не было дела до зловещего зеленого вагона с густой решеткой на окнах.

Три ведра воды понадобилось солдатам конвоя, чтобы привести меня в чувство. На второй день им удалось всучить меня надзирателям соль-илецкой тюрьмы, которые явились за кем-то на станцию. Я отдохнул там неделю в камере, и выслушал еще одну легенду о Фанни Каплан, которая якобы заведовала местной тюремной библиотекой. С опозданием на три недели я попал в карантин Актюблага, где мне предстояло ждать перехода в общую зону. Я не мог дождаться этого момента, наслушавшись в тюрьме о том, что жизнь в лагере это в какой-то степени суррогат жизни на воле. Есть некоторая, хотя и ограниченная, свобода передвижения, можно долго находиться на воздухе, можно проявлять инициативу, подобрать себе круг интересных знакомых, поддерживать регулярную связь с внешним миром и т.д.

Я был полностью в плену этих баек и все глаза проглядел, стараясь узнать, что же происходит за забором. Там, наверное, можно будет утолить голод, терзавший меня уже так долго. Однажды я даже взял пустую пожарную бочку, перевернул ее, приставил к забору и перевесил голову на ту сторону. Я успел только увидеть прямо

перед собою длинный барак. Перед ним сновали какие-то подростки. Один из них, шустрый мальчуган, увидев меня, быстро подбежал к забору, подпрыгнул и сорвал очки с моего носа. Все передо мной сразу затянулось туманом. Остроты зрения я достигал лишь с помощью пятнадцати диоптрий. Теперь все кончилось. Я не знал, как буду дальше жить, кто будет меня водить за руку, и, стоя на шатающейся бочке, ревел белугой.

Тонкий голосок затенькал где-то внизу:

-- Дяденька, а дяденька, слушай, что я тебе скажу. Принеси две больших пайки хлеба и получишь свои очки.

Две большие пайки хлеба это было состояние, которое я мог приобрести только недельной голодовкой. Я еще пуще заревел, когда вдруг внизу замелькало что-то белое и я услышал мужской голос:

-- Что стряслось? Может быть я смогу помочь?

Я торопливо рассказал о своей беде и услышал в ответ:

-- Ждите, увидим, что можно сделать.

Через несколько неимоверно долгих минут я опять услышал этот ангельский голос:

-- Нате вам ваши очки. Но в будущем не советую вам подходить близко к малолеткам. Ваше счастье, что они меня слушаются.

Я насадил очки на нос и увидел статного мужчину средних лет в белом врачебном халате. Узнав, что я из Польши, он сказал:

-- Я потомственный московский врач Венгерко, сын известного когда-то профессора Венгерко. Не слышали? Отец мой был тоже поляком.

* * *

Наступил долгожданный день и я покинул карантин. Нарядчик привел меня в барак, передал бригадиру, а тот, указав место на голых нарах, обещал утром выдать пайку и вывести на работу на бетономешалку.

Бросив пустой мешок в изголовье нар, я ринулся осматривать лагерь. Я шел по дощатому настилу для пешеходов вдоль унылых барачных корпусов и чувствовал себя как на ве-

ликосветском променаде. Заглянул в баню и парикмахерскую, остановился возле мастерских, где чинили обувь и одежду, обошел с почтением контору, со страхом мрачный сруб БУРа, напоминающий блокгауз, и землянку, вырытую для штрафного изолятора. А уж прямо в восторг привело меня большое деревянное сооружение, в котором находилась кухня со столовой и хлеборезкой и клуб со зрительным залом. Рядом расположился как бы маленький базар. День уже кончался, работяги начинали готовиться ко сну, но здесь крутились еще зэки, предлагающие товар: восьмушку махорки, несколько головок чеснока, луковицу или морковь, пайку черного липкого хлеба или миску каши. Я с жадностью всматривался в эти лакомства, даже приценивался, хотя и знал, что мне нечем платить. Продающие требовали за свое богатство или червонец или пайку хлеба. Я же давно забыл, как выглядят деньги, а свою пайку проглатывал сразу целиком. Но здесь прямо разомлел от голода, а желудок свело судорогой. Господи, что мог бы я продать или выменять на кусочек хлеба или несколько ложек каши? Я осмотрел свою измызганную в тюрьмах и пересылках, прожженную в дезкамерах одежду и пришел к грустному выводу, что она даже для огородного пугала не годится. И вдруг меня осенило. В пустой камере соль-илецкой тюрьмы я нашел под нарами старый, оборванный «Альманахъ-календарь для всех на 1909 г.» со множеством иллюстраций, стихотворений, пословиц и легенд. Все набрано убористым шрифтом на глянцевитой бумаге. Это было мое единственное чтиво за многие месяцы изоляции от внешнего мира. Но теперь я решил отказаться от старого друга. Я забежал в барак, выхватил из мешка книжицу и вернулся на почти пустой уже базар.

-- Кому бумагу для курева? -- бормотал я с некоторым смущением, не находя покупателей на пустом базаре.

Неожиданно направился ко мне мужчина средних лет с быстрыми движениями и бегающими глазами.

-- Что это у тебя, очкарик? Да разве это бумага для курева? С глянцем она, не годится. Ради картинок только могу взять, если недорого запросишь.

Я назначил цену в червонец, ибо уже знал, что это самая низкая единица местного торгового оборота.

-- Ты что, спятил? Самая красная цена пятерка. И скажи спасибо, что хочу это говно взять.

Он смотрел на меня сочувственно и выжидал, а я знал, что за пятерку ничего не куплю. Затем он отвернулся, сделал несколько шагов, но остановился и бросил:

-- Где наша не пропадала, даю шесть рублей. Берешь?

Он вынул из-за пазухи две новые, шелестящие трехрублевки, развернул их веером, помахал и тут же опять свернул и спрятал за пазуху.

Я понял, что лучшего покупателя мне никогда не найти, и хотя за шестерку ничего не куплю, но это может быть зачатком будущего капитала. Я безмолвно протянул книгу, которую он схватил, всунув мне быстро в руку выхваченные опять из-за пазухи деньги, свернутые в трубочку. И сразу как сквозь землю провалился. С чувством удовлетворения от выгодной сделки я развернул зеленый комочек и увидел, что у меня в руке всего только одна трешница, а вместо другой -- кусок бумаги такой же величины. Услышав громкий гогот, я поднял голову и увидел выглядывающего из-за угла столовой моего покупателя. Он с явным удовольствием наблюдал мою растерянность. Это торжествующее ржание мне пришлось в будущем много раз слышать, когда я бывал свидетелем сделок Петра-фармазонщика. Видя потом творческий размах его операций, когда он в производственной зоне надувал вольняшек, особенно женщин, всучая им за большие деньги половую тряпку или старую рукавицу вместо шелковой кофточки, я понял, что в этот первый вечер он только упражнялся со мной. Просто проба почерка.

Но тогда на лагерном базаре это было для меня удачом. С трешкой нельзя было ничего сделать.

Я уже хотел было поплестись в барак, когда из-за кухни выбежал какой-то мужик с дымящимся котелком.

-- Кому баланду первого котла? -- орал он и, не видя больше никого на площади, подбежал ко мне.

-- Купи баланду, смотри какая густая! -- он выхватил из-за ботинка деревянную ложку и помешал окутанное густым паром варево. -- Я на кухне картошку чистил, на-

елся от пуза и еще получил полный котелок с собой. Бери, дешево отдам, гроши нужны.

Из чисто теоретических соображений я спросил цену.
-- Пятнадцать рублей.

Я отдавал себе отчет, что по местному прейскуранту пятнадцать рублей -- это дешево за такое обилие харчей, но увы!

Обладатель недоступного сокровища внимательно всматривался в меня и заманчиво вращал ложкой в котелке. А я буквально глотал слюнки и не мог оторвать глаз от столь аппетитно булькающей гуши.

-- А есть у тебя вообще деньги? -- он явно терял терпение. -- Давай червонец, пока я не раздумал, и сматывай!

Я со стыдом признался, что располагаю всего навсего трешкой. Он посмотрел презрительно, сплюнул мне под ноги и ушел. Но вдруг, трудно поверить, быстро возвратился и рывкнул:

-- Что мне с тобой, дохляком, делать? Давай трешку и подставляй свой котелок!

Опьяненный нахлынувшим на меня счастьем я стоял беспомощно. У меня даже еще не было ни котелка, ни ложки. Их можно было купить только за хлеб, которого у меня тоже не было.

Узнав в чем дело, мой благодетель быстро сообразил:

-- Подставляй шапку!

Я быстро сдернул с головы мою драную ушанку и он опрокинул в нее свой котелок.

Уже совсем стемнело. Я стоял с несказанным богатством, которое начинало просачиваться сквозь потрепанное сукно. Осторожно дойдя до стены столовой, присел на корточки и решил сначала вылакать драгоценную жижу, а уж потом выбирать пальцами лукулловскую гушу. С благоговением сделал я первый глоток... и поперхнулся. Более отвратительной гадости ни до этого, ни после не пришлось мне брать в рот. Встревоженный, я полез за гушей и убедился, что состоит она из обглоданных селедочных хвостов и костей, гнилых картофельных очисток и разных несъедобных стеблей. Все это было зачерпнуто из помойной ямы и залито кипятком.

Над клубом выкатилась громадная луна и осветила, как на картине Верещагина, место крушения моих надежд. Мне казалось, что она вот-вот загогочет, как Петро-фармазонщик. Но было тихо, только на вышках попки постукивали прикладами. Хотелось плакать, но тут я вдруг понял, что первый урок обошелся мне довольно дешево, и рассмеялся.

Мраков

При всей угрюмости своей фамилии Алексей Максимович Мраков был самым развеселым зэком во всем лагере. Это проявилось с особенной силой в 1944 году, когда из-за вешнего паводка лагерь в течение нескольких недель лишен был всякого подвоза и люди стали падать от голода. На работу никто их уже не выгонял, они лежали неподвижно на нарах, прикрытые чем только возможно было, и грезили о хлебе. По собственной инициативе Мраков, собрав остатки сил, начал обходить бараки и не давал людям спокойно умирать. Он балагурил, сыпал прибаутками, пел блатные песенки, рассказывал анекдоты, в одиночку разыгрывал целые сцены из популярных водевилей и комедий, даже пускался в пляс на подгибающихся ногах. Многие считали, что Мраков своим гаерством спас им жизнь. Но многие сыграли в ящик. Из насчитывавшей тридцать человек бригады монтажников остался в живых только бригадир Васька Мющенко, бывший перворазрядный борец. Начальник лагеря Гладких высоко оценил благородство Мракова и в награду назначил его жестянщиком зоны. Это была калымная должность -- он лудил посуду для кухни и мастерил котелки для зэков. Став видной фигурой в зоне, Мраков вскоре организовал коллектив художественной самодеятельности. Подобрал людей, способных петь и танцевать, он вечерами проводил в клубе репетиции и разучивал с доморощенными актерами эпизоды из таких инсценировок как «Похождения

бравого солдата Швейка», «Нет худа без добра», «Чуркин-разбойник» или «Медведь» Чехова. Удивительное всего было то, что все тексты вместе с куплетами он, неизвестно как, держал в голове и каждому исполнителю диктовал его роль. Загвоздка была только с распределением женских ролей. Главным образом доставались они более или менее осознающим свою особенность педерастам. Все это делалось ради возможности гастролировать по женским командировкам и тем самым жениться. У Мракова в каждом женском лагунке была своя шалашовка. Конечно, в состав труппы Мракова входили только лагерные придурки, ибо работягам снились не женские прелести и ласки, а горбушки хлеба и миски каши.

Но с некоторых пор я неожиданно приобщился к придуркам. Подышающего под клубным бараком, отекающего от голода доходягу подобрал заключенный воспитатель Криц. Втащил он меня в клубное помещение и недели две откармливал, пока я не стал швелить ногами и мозгами. Процесс возвращения к жизни проходил столь успешно, что уже на вторую неделю я стал зарабатывать себе дополнительную миску баланды, которую получал от художника Серджи Богуславского за писание от его имени любовных писем к Зое из женской командировки «Леснос»*.

В клубе я стал помогать Крицу сортировать и вручать зкам письма. Вскоре я превратился в заправского лагерного почтальона, положив тем самым начало моей временной карьере придурка. Период убийственного голода остался позади и я стал напрашиваться к Мракову в артисты, тем более, что между нами установилось что-то подобное дружбы. Мраков вел оживленную переписку, получал и отправлял кучу писем. Он заходил в отведен-

* Пройдет двадцать лет и в составе делегации польских писателей я поеду в Москву. На приеме, устроенном у писателя Ш., я разговариваю с его очаровательной женой Тамарой и окажется, что мы оба в одно и то же время отбывали срок в лагерях Северного Урала. А когда мы начнем уточнять подробности, выяснится, что хозяйка дома писала в свое время любовные письма художнику Сереже Богуславскому от имени не шибко грамотной бригадириши Зои.

ную мне кабинку и если у нас было достаточно времени, занятно рассказывал о своей жизни на воле. Он усаживался поудобнее на большом пеньке, заменяющем мне табуретку, и, поглаживая свой седоватый ежик, тараторил неповторимой скороговоркой признанного балагура. При наиболее эффектных эпизодах в его глазах зажигались лукавые огоньки, а скуластое лицо с рябинами величиной с гривенник расплывалось в улыбке, так что невозможно было разобраться, где он правду говорит, а где -- «травит».

Родился Мраков в начале нашего века где-то в палатке строителей КВЖД. Во время гражданской войны переместился в Сибирь, а затем и в Россию, которую исколесил вдоль и поперек, присоединяясь к бандам беспризорных малолеток. Его рассказы об их жестоком мире, о кровавых карточных играх на смерть и жизнь в канализационных трубах, об убийствах во время поездок в пустых товарных вагонах, о массовых зверских изнасилованиях врезались в мою память на всю жизнь. В середине двадцатых годов Алексей Максимович остепенился, обосновался в каком-то сибирском железнодорожном поселке и стал работать парикмахером на станции. Жену свою любил неистово, баловал ее и не пускал работать. Он наслаждался неведомой ему доселе теплотой домашнего очага, мечтал об ораве детей и спокойной старости.

Однажды во время работы ему понадобилось за чем-то забежать в дом. Задворками он добрался до своей избы, мимоходом глянул в окошко и увидел толстый мужской зад и широко раскинутые на супружеском ложе ляжки своей ненаглядной Нины. Кровь ударила в голову. Пинком сорвав дверь с крюка, он ворвался в комнату. На полу возле кровати валялись синие галифе, рядом торчала из кобуры рукоятка пистолета. Выхватив его, он расстрелял обойму прямо в зад и в изменницу.

Убитый хахаль оказался начальником местного отделения ОГПУ. Мракова обвинили в контрреволюционном акте террора и приговорили к высшей мере наказания, которую, однако, заменили десятью годами заключения в лагерях.

В первые годы Мраков никак не мог примириться с потерей свободы. За многократные попытки к побегу и злостные отказы от работы ему несколько раз прибавляли срок, который разросся до двадцати лет. В конце концов он сдался и стал приспособливаться к лагерной жизни.

Года за два до конца срока он начал со страхом задумываться над своим будущим. Решил вернуться к старой профессии и упросил начальника лагеря перевести его на работу в парикмахерскую.

-- Надо, чтобы пальцы размякли и чтоб сошла с них кожа, разъеденная припоями, соляной кислотой, растворами хлористого цинка и канифоли, -- объяснял он мне, растопырив свои короткие пальцы, черные и негнущиеся. Жаловаться, что тяжело будет раздобыть подходящий инструмент, чтобы все было как следует: клинковые бритвы, кисти, чашечки, салфетки для компрессов, квасцовый камень, не говоря уже о рычажных машинках разных размеров для стрижки волос, пульверизаторе с тройным одсколоном, ножницах и гребенках.

Я сочувственно покачивал головой, ибо даже при наличии денег, которые у Мракова всегда водились, нельзя было все это достать в нашей таежной глухомани.

Однако секрет посещения меня Мраковым таился в его оживленной переписке со множеством женщин. Дело в том, что, задумываясь, куда ему, бобылю, деваться после освобождения, поскольку не было у него родственников во всем мире, его осенила блестящая идея найти себе невесту путем переписки. Кандидаток для этого он подыскивал весьма просто. Поступала время от времени в читальню при клубе областная газета «Звезда» из города Молотов, как именовали одно время Пермь. Мракова интересовали в ней исключительно объявления о разводах, которые, по существующему до 1965 года закону, должны были оповещать о судебном разбирательстве бракоразводного дела. Мраков разработал несколько вариантов и применял их сообразно с обстоятельствами. Попадалось ему, например, объявление типа: «Иванов Петр Васильевич, проживающий в г.Молотов по ул.Чкалова 35, возбуждает дело о разводе с Новиковой Валентиной Николаевной, проживающей в г.Нытва по ул.Кирова 17. Дело подлежит

рассмотрению в нарсуде Ленинского района г.Молотов». Прочитав его, Алексей Максимович доставал чистый лист бумаги и своим красивым и разборчивым почерком ротного писаря выводил следующее послание:

«Многоуважаемая Валентина Николаевна!

К моему глубокому прискорбию узнал я неожиданно, что недостойный Вас Петр Васильевич потерял последнее чувство человечности и здравый ум, добываясь расторжения брака, который сулил ему столько благ. Меня поражает его неблагодарность и недалковидность. Будь я на его месте, я бы целовал Ваши руки и ноги, ибо Вы -- идеал женской добродетели. И еще прошу я Вас, Валентина Николаевна, не огорчайтесь. Этот отвратительный тип этого не заслуживает, а Ваше счастье еще впереди. И знайте одно -- в случае чего-либо можете всегда рассчитывать на мою помощь.

С дружеским приветом и наилучшими пожеланиями искренне Ваш Алексей Максимович Мраков
Молотовская обл., пос.Широковское, п/я 385/2».

И письмо отправлялось в г.Нытва.

Если же в объявлении речь шла о том, что Волобуева Анна Андреевна, проживающая в г.Молотов по ул.Куйбышева 51, возбуждает дело о разводе с Волобуевым Виктором Яковлевичем, проживающим там же, применялся трафаретный вариант N2:

«Многоуважаемая Анна Андреевна!

С удовлетворением узнал я, что Ваше терпение лопнуло и Вы, скрепя сердце, решились в конце концов расторгнуть этот злополучный брак с Виктором Яковлевичем, который был Вам всегда неровня и не сумел подняться до Вашего высокого культурного и морального уровня. Вас можно только поздравить с удачным жизненным шагом. Вы -- идеал женской добродетели и Ваше счастье впереди. Будьте стойки и не уступайте квартиру этому недостойному Вас человеку. И еще советую Вам квартиру с ним не делить, пусть уходит туда, где ему место. И знайте одно, что в случае чего-либо можете всегда

рассчитывать на мою помощь».

Вариантов было немного и они большей частью попадали в цель. Какая женщина не откликнется на столь участливое отношение к ее переживаниям! На имя Мракова приходило благодарственное письмо с робким вопросом, спрятанным в извинениях, что, мол, в суматохе последних событий и свалившихся на ее голову хлопот, она теряет память и никак не может вспомнить, когда и где судьба свела ее с доброжелателем Алексеем Максимовичем, но тем не менее она никогда не забудет его сочувствия и т.д.

Здесь развивающейся переписке приходилось преодолевать первую преграду. Мраков во втором своем письме искренне признавался, что они никогда не встречались. Он случайно прочел разводное объявление, а поскольку он сам испытал в свое время большое разочарование и был обманут в своих нежнейших чувствах, он понимает чужие страдания и считает своим долгом оказать моральную поддержку женщинам, перед которыми мужчины должны всегда преклоняться. Он еще раз предлагает ей свою бескорыстную помощь, поскольку он одинок и ему хорошо живется.

Здесь некая часть разведенков отсеивалась, но те из них, у которых доверчивое любопытство брало верх, приглашали его любезно в гости, чтобы ближе познакомиться. И здесь-то была самая тяжелая преграда. Нельзя было уже больше увиливать от настоящего положения вещей. Надо было писать без обиняков, отбросив всякие хохмы. Алексей Максимович шел в баню, надевал чистую рубашку и садился писать, сосредоточив внимание на том, чтобы все получилось как можно искреннее. В первую очередь он благодарил за любезное приглашение и выражал сожаление, что не сможет им воспользоваться, ибо он в заключении в исправительно-трудовом лагере, где скоро окончит свой срок. Сидит он за убийство жены и ее любовника в состоянии аффекта. В лагерях живется ему неплохо, поскольку у него несколько профессий. В настоящее время он заведует парикмахерской и прилично зарабатывает. Он ни в чем не нуждается и, наоборот, он готов

в меру своих возможностей оказать помощь нуждающимся в ней. Так как он абсолютно одинок, его тревожит отсутствие кого-либо близкого на воле, к кому он мог бы поехать, когда его отпустят. Он чувствует себя еще в силах основать крепкую семью и для нее трудиться. Если все эти сведения не устроят ее и она готова поддерживать с ним связь, он будет счастлив надеяться на встречу в недалеком будущем. Он просит понять его и простить первоначальный обман. Наглядным признаком прощения пусть будет присланная ему фотокарточка и немного подробностей о своей жизни.

После этого третьего письма мало оставалось решительных женщин, готовых в своем отчаянии уцепиться за протянутую им руку исправившегося женоубийцы. Не следует забывать, что в первые послевоенные годы ощущалась резкая нехватка мужчин, пригодных для брачных уз.

Года за полтора до конца срока осталось у Мракова четыре серьезные кандидатки в жены. Поскольку я был в курсе дела, он приходил ко мне в кабинку и не без смущения раскладывал на столике четыре фотокарточки паспортного образца. С них смотрели в упор уже увядшие лица. Нелегкая бабья доля сделала их всех похожими друг на друга как сестер-близнецов. Плохое качество фотографий стерло последние черты милловидности.

Алексей Максимович ерошил свой ежик и бормотал под прокуренным рыжим усом:

-- Возьмем, например, Тамару. Развод уже оформила, но вернулась в деревню, где у ее матери своя хата. Работала в Перми, на прядильно-ткацкой фабрике, но город ей опротивел. А что мне делать в деревне? Колхозникам парикмахер не нужен. Нет, колхоз я в гробу видал. А вот Галя работает в швейной артели, даже ударница, но своей квартиры нет, снимает угол у чужих людей. Принимать заказы на дом не может, да и мне не хочется жить по углам. У Ани же своя комната в коммунальной квартире, но она какая-то квелая, уже два раза писала мне из больницы. Что-то у нее по женской части не того. Детишек с такой не наживешь. Остается Клава. Все чаще

о ней думаю. Ей всего тридцать два года, а сынишка Андрушка мне не мешает. Сорок рублей в месяц суд присудил на него. Ты же знаешь, я заказал им обоим по паре кожаных тапочек у сапожника Абдуллы, а на зиму думаю послать им обшитые валенки. Да Клава собирается ко мне приехать.

И действительно. Однажды утром после развода на работу в парикмахерскую зашел надзиратель и сказал Мракову, что ночью приехала его невеста с мальчиком и ждет на вахте. Алексей Максимович побежал так, как стоял -- в белой куртке, по пути крикнув мне в окошко: «Клава приехала!» Я поплелся за ним к воротам. Со скамейки под вахтой поднялась ему навстречу еще молодая женщина с круто завитыми барашком волосами и ярко накрашенными губами. Она выглядела привлекательней чем на снимке. К ее юбке прижимался хилый и бледный мальчуган лет восьми-девяти.

Начальник освободил Мракова на три дня от работы и велел переселить его на это время в дом свиданий. Никто не знал, как проходила встреча за окнами, заделанными решеткой, только видели, как работающий дневальным в доме свиданий Мишка-бесконвойник по нескольку раз в день бежал в столовую и ларек для вольняшек и выходил оттуда, навьюченный яствами. Денег Мраков не жалел.

После отъезда Клавы Мраков не являлся ко мне больше недели. Когда же пришел, то показался мне совсем другим человеком. В лице его было какое-то внутреннее спокойствие, даже говорить стал тише и медленнее. Вопреки принятым в лагере обычаям, он, старый похабник, даже словом не обмолвился о том, как прошли эти три дня, а главное, ночи. Уходя, он сказал:

-- Все. Точка. Приноси мне письма только от Клавы.

Как почтальону мне приходилось также извещать счастливых о поступлении посылок и присутствовать при их выдаче. Раз в неделю, в определенный день, привозили в мою кабинку стопу обшитых холстиной ящиков. Я впускал получателя, надзиратель вскрывал посылку и, проверив ее содержимое, пересыпал в подставленный мешок. Убирал я как-то ворох пустых ящиков и обшивок и вдруг пришла мне на ум дурацкая идея разыграть кого-

нибудь. Ведь можно же из этого хлама смастерить липовую посылку и подсунуть кому-то из придурков шутки ради или для понта, как говорилось в лагере. Только с кем бы это проделать, чтоб было смешнее? Решил поговорить с Мраковым, ведь он -- непревзойденный мастер розыгрышей. А почему не подшутить над самим Мраковым? Он не обидится и сам первый посмеется над остроумной проделкой.

Я поговорил с Родионом Бачуриным, искусным фальшивомонетчиком, и тот принялся за дело. Он изготовил из пучка пакли и старого черенка бутафорный помазок, такую же громадную бритву из кровельного железа, несуразные ножницы из железных планок, обернул в бумагу из-под туалетного мыла два куска кирпича, к этому добавил бутыль с какой-то мутной жидкостью, закупоренную пробкой с торчащим посередине наконечником из-под клизмы. Надпись на этикетке объясняла, что это «Тройной одсколон для внешнего, внутреннего и анального употребления». Все это было уложено в фанерный ящик, который был обшит холстиной, перевязан бечевкой, скрепленной сургучными печатями. Нашелся также и чистый почтовый бланк. Как отправитель фигурировало какое-то фиктивное женское имя; все это Бачурин удостоверял поддельными почтовыми штемпелями.

Уведомления поступали за два дня до раздачи посылок, чтобы подготовить получателей.

-- Леша, -- сказал я, заходя в парикмахерскую. -- если я не ошибаюсь, тебе как будто мерещится посылка.

Мраков оцепенел с машинкой для стрижки в высоко занесенной руке и, увидев, как побледили на его лице все рябны, я уже стал сожалеть о своей выходке, но отступать было поздно.

-- Покажи бланк, -- сказал он сдавленным, охрипшим голосом. -- Это, конечно, от Клавы. Дурочка, сколько раз я ей писал и говорил, что ни в чем не нуждаюсь, да нет, взбрело ей в голову доказать свою любовь. Я как-то невзначай обмолвился, что, мол, пригодился бы мне хороший инструмент. Видишь, подала другую фамилию, чтобы я не серчал.

-- А ты, Леша, пока никому об этом не рассказывай.

Бог его знает, что это может быть, поживем-увидим, -- я пытался создать себе алиби и одновременно ограничить резонанс аферы.

К концу дня весь лагерь уже знал, что Мраков впервые за двадцать лет получает посылку, да еще от влюбленной в него бабы. Даже самого начальника лагеря не преминул оповестить счастливый жених.

В день раздачи посылок многочисленная толпа эков провожала Мракова через всю зону к моей кабинке, у которой собралось уже немало любопытных. Он шел как под венец, покрасневший и вспотевший от волнения, расплываясь в счастливой улыбке и пожимая руки поздравляющих его товарищей.

Я поставил на стол злополучную посылку и через широко открытую наружную дверь все собравшиеся пристально смотрели, как дежурный надзиратель дал Мракову проверить нерушимость сургучных печатей, а затем, прорезав бечевку и холстину, поддел большим ножом крышку ящика и вынул положенный поверх вещей перечень содержимого, чтобы громко прочесть: «Одна бритва, одни ножницы, один помазок, один флакон тройного одеколона и два куска туалетного мыла». Потом развернул оберточную бумагу и стал вынимать «подарки». Каждую вещь он поднимал высоко и долго держал ее для осмотра присутствующими. Сначала воцарилась недоуменная тишина, потом кто-то охнул, кто-то по-разбойничьи засвистел, и вдруг раздался оглушительный хохот. Люди закатывались от смеха и, держась за животы, валились на землю. Надзиратель перегнулся через стол, фуражка скатилась на пол, а по одурелому его лицу струились крупные слезы. Истерический смех сотрясал время от времени его тело и тогда он начинал стонать.

Я со страхом взглянул на Мракова. Он стоял неподвижно, бессмысленная улыбка скользила по его лицу, и только мелкая дрожь его отвисшей губы выдавала душевное состояние. Я понял всю жестокость своего поступка и мгновенно решил спасти положение. Я подбежал к нему, схватил его безжизненную руку и крикнул во весь голос:

-- Леша, лучшего номера ты не мог отколоть! Как ты

все это устроил? Такой уморы еще не было. Братцы! Ура Алексею Максимовичу! У-р-р-а!

Бог дал мне зычный голос и многие меня услышали. Смех еще рокотал по линейке, но народ, протирая глаза от слез, уже начал расходиться. Кто поверил, кто -- нет, но первоначальная пикантность ситуации стала теряться.

Прошли недели, дело с посылкой было уже забыто, Мраков усиленно готовился к освобождению, до которого оставались считанные дни. Однажды утром я заметил, что в парикмахерской Мраков один и можно без очереди побриться. Я удобно уселся на стуле, Мраков подвязал мне салфетку и начал старательно намыливать лицо.

-- Открой рот, -- сказал он привычно и вдруг быстрым движением воткнул мне в рот помазок с мыльной пеной; одновременно я почувствовал приставленное к горлу острие бритвы.

-- Дело прошлое, но ведь это была твоя затея с посылкой? Не пытайся даже запираться, без твоего соучастия ничего не получилось бы. Не правда ли?

Он нагнулся надо мною и я увидел, как подвернулась и сжалась его верхняя губа и расширились зрачки. Лезвие бритвы болезненно давило на горло.

«Конiec, -- подумал я. -- Как неслепо погибать за пустяковину!» -- И вдруг удалось мне вытолкнуть языком мыльный кляп.

-- Что ты, Леша, вспомни только, как я предупреждал тебя никому ничего не говорить. Я уверен, что Клава с Андриюшкой упишутся со смеху, когда ты вскоре расскажешь им, как это смешно получилось.

Имена людей, к которым он стремился, заставили его опомниться. Несколькими быстрыми движениями бритвы он снял всю пену с моего лица и помог встать со стула. Ноги подо мной подкашивались и холодная струйка пота стекала между лопатками.

Провожали Мракова на свободу все, кто находился в это время в жилзоне. Он шел танцующей походкой к воротам, а его помощник по парикмахерской наживал себе грыжу, сгибаясь под тяжестью громадного фанерного че-

модана и набитого сидора. Мраков махал всем рукой и кидал попадавшимися ему навстречу доходягам по селедке из сухого пайка.

Прошло два года. Давно уже расформировали наш Северо-Уральский ИТЛ, а я скитался по вновь учрежденным лагерям усиленного режима для политзаключенных. Однажды гнали меня по спецэтапу в Москву и поместили на ночь в Челябинской пересыльной тюрьме. Поздно ночью, уже после отбоя, меня втолкнули в громадную камеру-«вокзал» для направляющихся в лагерь. Все уже спали и я с трудом нашел свободное место на дальних нарах. Утром, сразу после подъема, меня вызвали на выход. Зэки, в ожидании оправки и кипятку, развлекались всякой болтовней и рассказами. Из одного темного угла доносились взрывы смеха. Проходя мимо к ожидающему меня надзирателю, я услышал знакомую мне скороговорку с характерной хрипотцой: «...и входит Гришка Распутин в будуар царицы, разматывает парчовые портянки, скидает бархатные портки...» Я нагнулся и увидел на нижних нарах сидящего по-турецки сильно постаревшего Мракова. Его окружал десяток смеющихся зэков.

-- Максимыч, что ты здесь делашь?!

-- Привет, старик! Мне припаяли червонец за Клавку. Она пуляла на сторону и я ее прикончил.

Перчатка

Ваську Еркина в бригаде не любили и не уважали, хотя он мало чем отличался от других работяг. Вкальвал на общих, вместе со всеми плелся утром на развод, на работе шевелился не медленнее и не быстрее других, вечером возвращался в зону измученный и озябший, -- как все. В стукачестве никто его не подозревал. Когда Еркину приходилось вдвоем с кем-то тащить баланы или брусья, он всегда ухитрялся подобрать себе напарника пониже ростом, на плечо которого ложился бы основной груз. При раздаче хлеба он искусно маневрировал, чтобы на его долю выпала горбушка и чуть побольше других. После ужина он не торопился уходить из столовой и дождавшись, когда уже никого не было, обходил столы и доедал все, что оставалось на дне мисок. Неосторожно рассыпанные хлебные крошки он старательно сметал в специальный мешочек, чтобы добавить потом к баланде. Из мусорного ящика за кухней Еркин доставал вываренные и обглоданные дочиста кости, собирал их и в течение многих вечеров варил в котелке на «шанхае», как называли печь под открытым небом, где зэки могли приготовить себе горячую пищу. В результате многодневных хлопот на дне котелка оседал слой грязного жира, который он намазывал себе на хлеб. Конечно, голод все это оправдывал, но общепринятый моральный кодекс уважающих себя зэков негласно осуждал такого рода повадки, как признак дурного тона.

Еркин ни с кем не дружил и мало было о нем известно. Воевал, попал в окружение и получил за это пятнадцать лет. Был он, несомненно, человеком грамотным, ибо время от времени появлялись в стенгазете его довольно гладкие стишки, где часто повторялось имя Сталина. За это по записке нового воспитателя, бывшего матроса Навзорова получал он на кухне добавочную миску каши. На собригадников, однако, это впечатления не производило, как и всякая наглядная политагитация. Один раз только, помню, обратили внимание на один лозунг. Это было, когда в день прибытия в лагерь большого этапа бывших власовцев, над воротами возле вахты затрепыхалось полотно транспаранта с надписью: «Покажем и на трудовом фронте наши доблестные подвиги!» Именно эта буква «и» рассмешила всех.

Еркин не получал ни писем, ни посылок. Но однажды он накатал большое письмо и бросил его в почтовый ящик. И, смотри, не прошло месяца, как на его имя поступила большая посылка. Все было в ней первосортное: круг сухой колбасы, кус сала с мясной прослойкой, копченый морской окунь, лук, чеснок, домашние коржики, шоколадные конфеты, красиво вышитый кисет с душистой махоркой, пушистый вязаный шарф, шерстяные носки и перчатки. Перчатка, впрочем, оказалась только одна. Выдающий посылки надзиратель долго тряс ящик, -- не застряла ли где-нибудь вторая. Решили, что отправляющие забыли вложить.

С тех пор Васька Еркин зажил по-другому. Мисок в столовой уже не вылизывал, крошек не подбирал, даже ходить стал сытой, вразвалку, походкой. Получаемые ежемесячно посылки относил в каптерку, куда забегал после работы захватить что-либо на ужин. Правда, в бараке никогда он не подкреплялся полученным из дому, чтобы не дразнить всегда полуголодных соседей и никого не угощать, разве что бригадира и десятника. А через некоторое время Еркин, числясь и дальше в составе бригады, стал работать учетчиком на лесоповале. Может быть кто и завидовал, но вида не подавал. Не замечали его и все.

Шла вторая зима и мне пришлось присутствовать при

выдаче Еркину богатой, как всегда, новогодней посылки. На этот раз он получил роскошный свитер домашней вязки. К нему была приложена шерстяная рукавица, и опять почему-то только на левую руку. Я уже стал задумываться над этим странным обстоятельством и хотел спросить Ваську, в чем тут дело? Но он не располагал к разговору, да я вскоре и забыл.

Весной бригаду в полном составе перевели с лесоповала на строительство плотины и она стала выходить на работу в две смены.

Это было уже в мае. Зэки вернулись с ночной смены и готовились ко сну, когда в барак зашел надзиратель и велел Еркину идти на вахту к ожидающей его жене.

Еркин, не проявляя большого волнения, натянул ботинки, накинул телогрейку и вышел из барака. Прошел час, все уже спали, когда опять явился тот же надзиратель и раздраженно спросил, где же этот Еркин и почему он не идет на вахту. Но Еркина нигде не было. Начали искать и только от нарядчика узнали, что Еркин в последнюю минуту присоединился на разводе к выходящей колонне и вышел через внутренние ворота на строительство. Пришлось ждать до вечера.

Вернувшись с дневной сменой в барак, наш герой быстро умылся и, захватив свою пайку, убежал. На вопросы озадаченных соседей по бараку он не ответил ни слова. И опять явился дежурный надзиратель и оказалось, что рехнувшийся, по-видимому, от счастья Еркин вновь вышел на строительство с ночной сменой, не отдыхая уже вторые сутки. Никто ничего толком не понимал, -- но Бог знает, что может произойти между супругами. Всякое бывает, может быть он узнал о ней что-то плохое?

Утром по распоряжению начальника охраны два надзирателя схватили входящего в зону Еркина и, несмотря на сопротивление, поволокли его на вахту. Измученная суточным ожиданием женщина застыла в недоумении при виде втолкнутого на вахту мужика, избегающего ее взгляда.

-- Вот вам ваш муженек, -- сказал начальник охраны с нехорошей улыбкой.

-- Это не мой муж, впервые вижу! -- воскликнула женщина.

Еркина отвели в изолятор, а сбежавшееся начальство занялось разбором дела.

Под вечер все в зоне уже знали, что произошло на вахте. Надзиратели не делали из этого тайны и со смехом рассказывали подробности.

С мужем этой женщины Еркин сдружился на фронте. Долго воевали вместе, делили всякие невзгоды и все друг другу о себе рассказали. Обменялись адресами и решили, если останутся в живых, встретиться после войны. На глазах Еркина снаряд разорвал его друга в клочья. Через некоторое время жена убитого получила извещение, что муж пропал без вести. Потянулись серые вдовьи дни, отягощенные заботами о сыне, растущем без отца. Уже все слезы были выплаканы, все надежды потеряны, когда неожиданно-негаданно поступило письмо с далекого Северного Урала. Почерк был ей неизвестен, имя отправителя незнакомо, но содержание письма вернуло ее к жизни. Муж, по которому она пролила столько слез, писал, что-бы она ничему не удивлялась, что он жив и только потерял руку, но научился писать левой, и давал ей осторожно понять, что живет под чужой фамилией. Когда, мол, узнал, что угрожает позор и утрата свободы на многие годы, выдал себя за погибшего товарища ради сына. Он предпочел, чтобы его считали погибшим, чем запятнать жизнь самых дорогих ему людей. Пусть она его поймет и простит. Он чувствует себя в силах многое выдержать и, если судьба смилостивится над ним, то вернется.

Ею овладела теперь одна мысль -- помочь ему выжить во чтобы то ни стало. Она стала работать, не разгибая спины, отказывала себе и ребенку во всем, распродала все скромные домашние пожитки, опустошила шкафы, чтобы только наскрести денег для очередной посылки. Несколько раз писала ему, что хочет приехать, но он заклинал ее не делать этого, -- слишком сильное будет нервное потрясение. Но она не выдержала, собрав остатки средств и нагрузив чемодан тщательно хранимым костюмом мужа, бельем и обувью, отправилась в дальний путь

с юга Украины на Урал, захватив с собою документы мужа из домашнего архива: метрику о рождении, профсоюзный билет, фотографии. Дорога была тяжелая, приходилось несколько раз пересаживаться, ждать целыми сутками на станциях, но она все-таки добралась. А тут привели какого-то чужого человека и утверждают, что это ее муж.

На второй день Еркин вернулся в бригаду. Ни начальник лагеря, ни оперуполномоченный не увидели в его поступке ничего кроме плутовства. А коль скоро ни интересы лагеря, ни государства при этом не пострадали, так за что же Еркина наказывать? Ведь он эту женщину не заставлял отправлять ему посылки, о вымогательстве и речи быть не может. По существу, следовало бы даже поощрять заключенных в их попытках повышать свою трудоспособность.

Но хотя в лагере находчивость среди зэков высоко ценилась, никто из работяг не одобрил затеи Еркина. Неприязнь и презрение к нему еще усилились. На этом, наверное, все и кончилось бы, если бы еще через несколько дней не стало известно, что для обманутой женщины это дело не обошлось одним только разочарованием. Начальник охраны заинтересовался содержимым ее чемодана и, обнаружив документы мужа, пришел к выводу, что она приехала устроить побег заключенному. Он запросил по телефону районную прокуратуру и получил санкцию на арест.

Некоторое время спустя в середине ночи несколько человек подстерегли Еркина и устроили ему темную. Избили так, что пришлось отвезти в центральную лагерную больницу, откуда к нам он уже не вернулся.

А к женщине, обвиненной в содействии к побегу, суд отнесся весьма снисходительно: дали всего пять лет. А сына определили в детдом.